

ЛЮБОВЬ
АРКУС

ПОМИМО

И ПОВЕРХ

ВСТРЕЧИ И СОБЫТИЯ

Любовь Юрьевна Аркус

Помимо и поверх.

Встречи и события

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=74051877

Помимо и поверх. Встречи и события:

ISBN 978-5-6047263-7-2

Аннотация

В сборник вошли беседы Любви Аркус с писателями, кинематографистами и критиками. Герои книги: Бакур Бакурадзе, Иосиф Бродский, Алексей Герман, Лидия Гинзбург, Рената Литвинова, Петр Луцик, Никита Михалков, Константин Мурзенко, Александр Расторгуев, Кирилл Серебренников, Александр Сокуров, Мария Степанова, Майя Туровская, Рустам Хамдамов, Алишер Хамидходжаев, Борис Хлебников и Виктор Шкловский – люди, с которыми автора связывала жизнь, работа и дружба. Это не интервью, тексты выходят за рамки традиционного жанра: каждый из них – портрет современника и попытка описания эпохи.

СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ!

В формате PDF А4 сохранен издательский макет книги.

Содержание

Виктор Шкловский	4
Иосиф Бродский	20
Лидия Гинзбург	40
Рустам Хамдамов	57
Конец ознакомительного фрагмента.	69

Любовь Юрьевна Аркус
Помимо и поверх
Встречи и события

Моей маме

Виктор Шкловский

1982

Нужно уметь различать

ЗАПИСКИ ЛИТЕРАТУРНОГО СЕКРЕТАРЯ

«Душа моя лежит передо мною.

Она уже износилась на сгибах. <...>

Сгибали душу смерти друзей. Война. Споры. Ошибки.

Обиды. Кино. И старость, которая все же пришла. <...>

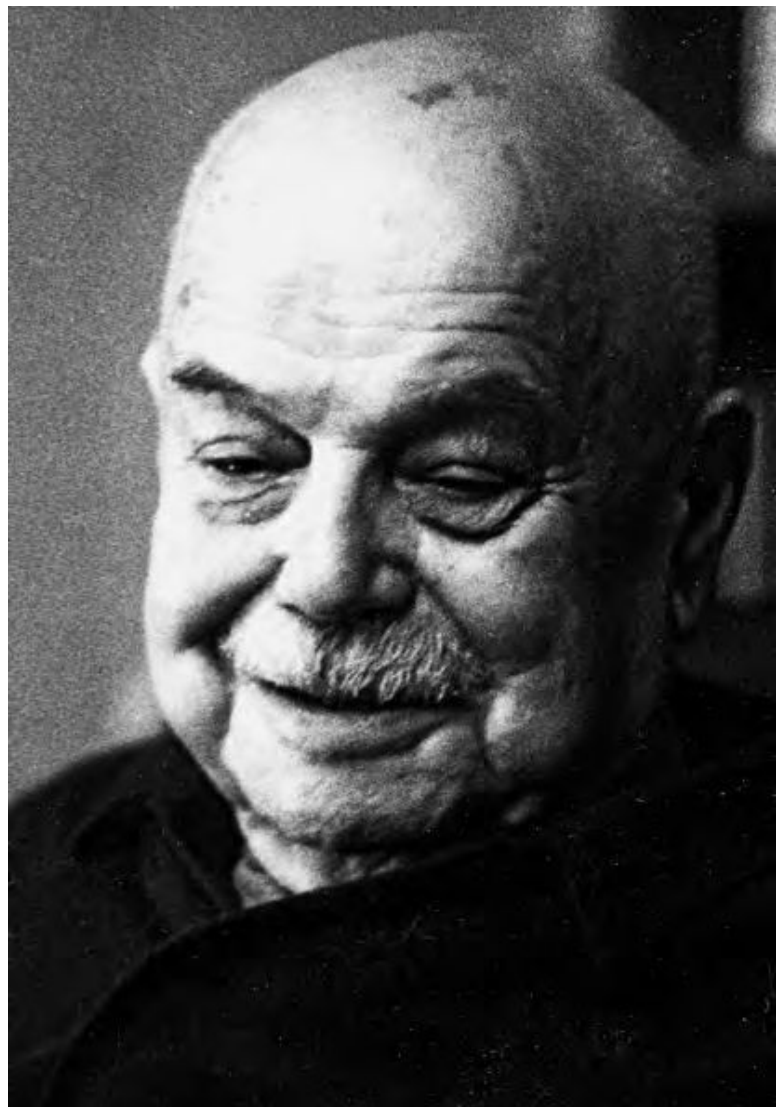
Память разошлась кругами. Круги дошли до каменного

берега. Прошлого нет.

К берегу ушли круги, кольца любви.

Не сяду у моря, не буду ждать погоды, не позову свою рыбку с золотыми веснушками.

Не сяду ночью у моря, не буду черпать воду старой коричневой фетровой шляпой.



Фот. Роман Хрущ. 1982

Не скажу: „Отдай мне, море, кольца“» («Zoo, или Письма не о любви»).

* * *

Первейшей из его рук наукой была наука писем *не* о любви, в которых только любовь и есть. Невзаимная и никогда не возможная. Наука принимать эту невозможность как благо и дар.

Спасаться – словом, платить – словом, не отделять одно от другого.

Все остальное – воскрешение слова, остранение, искусство как прием – это потом, потом. Это уже ВГИК.

После моей курсовой работы «Шкловский и Эйзенштейн» Илья Вениаминович Вайсфельд вызывает меня на кафедру.

– Подумай, – говорит старый профессор, – я могу рекомендовать тебя твоему герою и моему соседу в качестве литературного секретаря.

– Что же тут думать, – отвечаю я быстро. – Сегодня можно к нему уже пойти?

– Да, но ты должна знать одну вещь: с тех пор как его жена, Серафима Густавовна, ослепла, эта вакансия всегда открыта, потому что никто, ни один человек не может удержаться в

этой должности больше недели.

– Почему?

– Видишь ли, деточка, Виктор Борисович не умеет писать. Да-да, не умеет писать. У него даже нет, собственно, почерка. Все последние годы он диктовал своей жене, а потом стали нанимать секретарей. Но видно, что у них не получается. Ну, ты как-нибудь постарайся удержаться подольше. А потом не расстраивайся. Выгонит. Все равно выгонит. Запустит палкой. И закричит: «Во-о-он!»

Откидывается в кресле, хихикает.

– Боишься?

* * *

Зима, снег, и если крепко зажмуриться, выключить зрение, слух и мысли о том, что здесь и сейчас, то – возможно – получится оказаться там и тогда.

Начало 1980-х, метро «Аэропорт», первый дом от угла Ленинградки. Узкий коридор весь заставлен книгами. Меня проводят в спальню, она же столовая. В составленной из двух кровати – он и его жена. Ему восемьдесят девять лет. Здесь он проводит весь день, с перерывами на трапезы, редкие прогулки и один час работы до обеда. Мои обязанности: помочь ему дойти до кабинета, записать «диктовку», расшифровать и показать текст. Еще отвечать на глупые письма. На умные он сам ответы диктует. Нужно уметь различать. Я подхожу к

кровати и подаю ему руку.

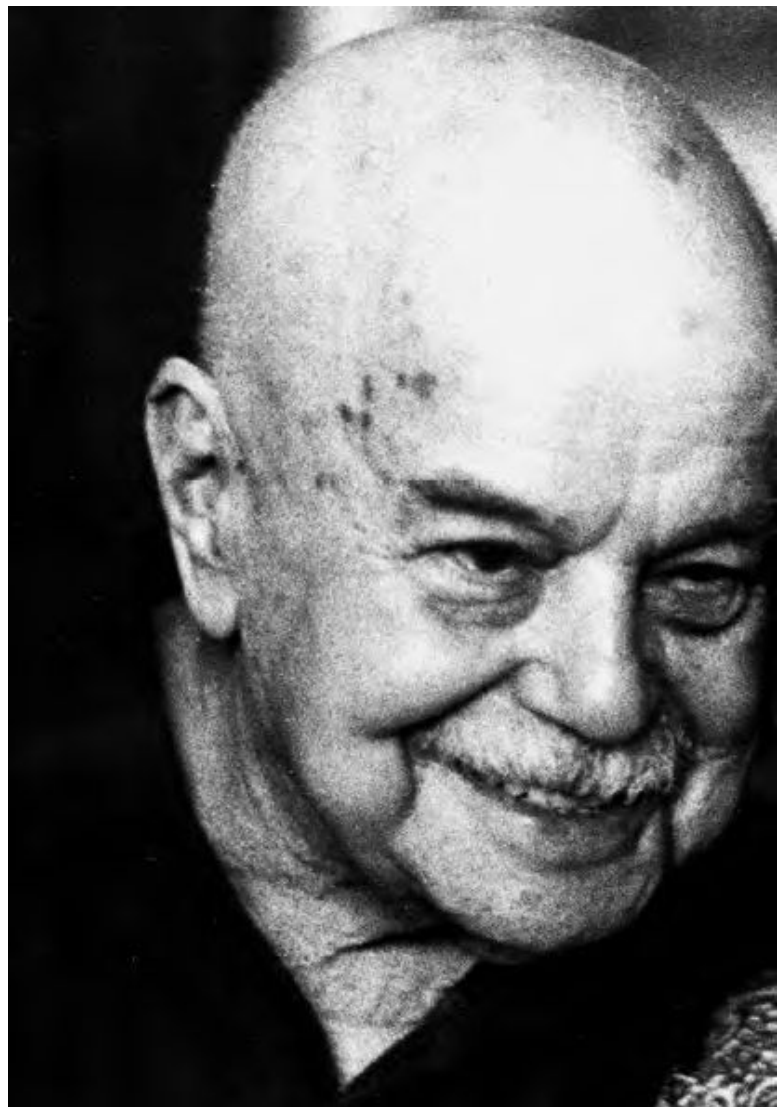
Его удивительную лысую голову я знаю по миллионам описаний – она была такой и тогда, когда он был молод.

Страшное, неудержимое желание осторожно погладить эту голову, дотронуться до нее. В этот момент он протягивает ко мне свою руку, похожую на огромного краба, и дотрагивается до моей головы. Осторожно гладит.

Тихо-тихо веду его в кабинет. Он принимает форму огромного кресла, стоящего у письменного стола размером с комнату. Мой стульчик напротив.

Он издает какие-то невообразимые звуки, громкостью и мощностью не соответствующие физической слабости, которая рвала душу, пока мы долго пробирались по маленькому коридорчику.

Прокашливается, прочищает голос.





Фот. Роман Хрущ. 1982

Я включаю диктофон.

– Сейчас осень, – трубит Виктор Борисович, глядя куда-то в верхний левый угол солнечного квадрата на стене. – Птицы улетают...

На всякий случай дублирую запись на бумаге: «В „Домби и сыне“ Диккенс описал... В „Страннике“ Вельтмана читаем... Когда Лоренс Стерн начинал... Черновики к „Анне Карениной“, моталка на Третьей фабрике, шляпа Эйхенбаума на подоконнике...»

Диктовка окончена. Медленный путь в спальню, к Серафиме Густавовне...

«Витя, как ты сегодня работал?»

(Жалобно.) «Я устал, Симочка...»

Голос меняется до неузнаваемости: от трубного баса до дребезжащего шелеста.

Я расшифровываю запись, и прошибает меня холодный пот.

Страничка бреда. Птицы, шляпа, Стерн, черновики. Связи между ними никакой. Хоть умри. И парадоксов никаких. И «сближения далековатых понятий» – тоже, потому что далековатость есть, а сближений никаких нету...

Тупо смотрю на страничку, перечитала сто раз, понимания не прибавляется.

Всплывают в памяти любимые страницы, читанные-пе-ре-

читанные в любовном восторге и «сношенные наизусть, как старое платье»...

И тогда.

Расшифровку в корзину для бумаг – вон.

Новый лист в машинку, скрипит каретка.

Быстро-быстро, потому что уже вплыла в кабинет дородная Матрена Сергеевна, как с картины «Шоколадница», только старая, под стать всему дому, и без чепца. Уже прогудела сурово: «Виктор Борисович работу ожидают...»

Сейчас, сейчас...

Все то же самое, только каждое предложение с новой строчки.

Никаких отточий и двоеточий.

Графика текста.

Книжная верстка на машинописном листе.

Такое волшебство: вот они, сближения. Все на месте.

Шкловский.

Несу. Подаю лист. Читает.

И трубным басом: «Симочка, сегодня я опять в хорошей форме!»

* * *

Я смотрю в окно, в свой Благоев переулок, и там не мой двор, а внутренний скверик по улице Черняховского, дом четыре. Вот к своему подъезду подходит старый писатель Мун-

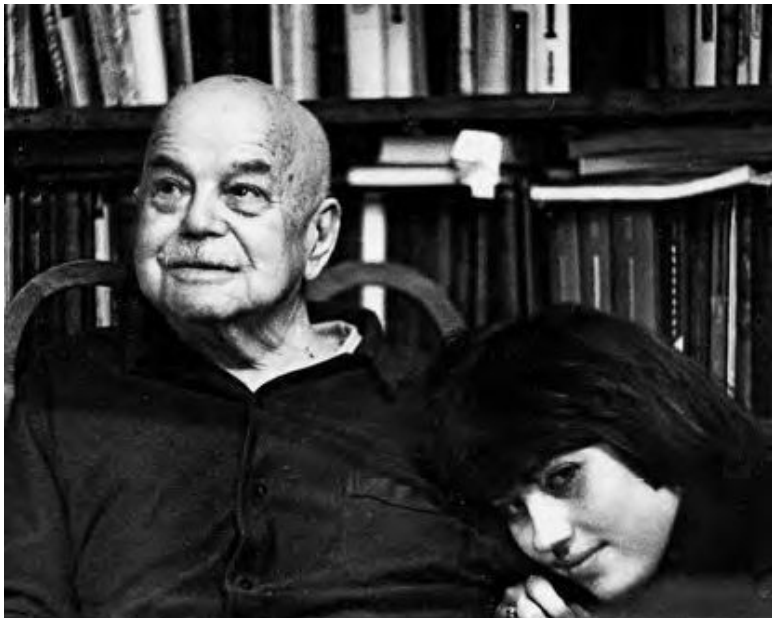
блин. Он иногда заходит к нам. Виктор Борисович его уважает, но ему с ним скучно. Поэтому он через полчаса включает пьеску «старческий маразм» и просит Мунблита позвонить Юре Тынянову. Мунблит сочувственно жмет мне руку в коридоре: «Плох старик, плох», я сдерживаю смех, знаю, что за закрывшейся дверью Виктор Борисович радостно стаскивает зеленые вельветовые штаны и залезает в постель: вот как ловко он провел Мунблита...

Вот, спотыкаясь и оглядываясь, несется журналистка из «Литературной газеты». Виктор Борисович только что прервал интервью, запустив в нее палкой. «Что, что случилось, Виктор Борисович?!» «Она задала мне вопрос: что такое реализм? Что такое реализм!!! Я всю жизнь не могу ответить на вопрос, что такое реализм одного Толстого в одном романе „Анна Каренина“! Что такое реализм!!!» Вот скверик. Именно здесь, на одной из наших немногочисленных прогулок (с этой обязанностью я справлялась плохо, заставлять не получалось), он сказал мне: «Запомни, деточка, предательство – это не такая страшная штука. Пока остается возможность что-то исправить». Вот бежит вприпрыжку друг Кролик, сын моего учителя Майи Иосифовны Туровской. Мы с ним под руководством Майи и Инны Натановны Соловьёвой учимся делать академические комментарии для публикации Шкловского в журнале «Театр». Я мучаю Виктора Борисовича idiotскими вопросами, он терпеливо работает подопытным кроликом, не помнит решительно ничего, о чем я его

спрашиваю, но морщит лоб и что-то вроде бы вспоминает. А скорее всего, врет, как первоклассник, он вообще-то не дурак приврать и к академическим комментариям уважения не имеет.

«Да ну, Виктор Борисович, – смеюсь я. – Так ли?» Он сияет. Мгновенно сиять – это одно из многого в нем удивительного. Только что еще не сиял – и вот!

«Смейся, – говорит он, – смейся еще. Мне так нравится, как ты смеешься. Очень смешно ты смеешься». Он был добр ко мне. И Серафима Густавовна – слепая, прикованная к постели, но курившая сигарету за сигаретой и выпивавшая перед обедом рюмку коньяку, – тоже была ко мне добра. Вечером они лежали, каждый в своей кровати, и я отвечала на мильон их вопросов: про ВГИК, про Львов, про маму, про любовь, про фильмы, про книжки, про еду, про город.



Фот. Роман Хрущ. 1982

Он был старым человеком, красивым и мощным. В своей мощи он превосходил весь совокупно молодой ВГИК, из которого я к нему приходила. Перепад температур и масштабов был трудновыносимым.

«Во что ты одета сейчас?» – спрашивала Серафима Густавовна. И после моего описания наводила критику, давала рекомендации.

Чтобы ей было не обидно, я записывала на диктофон и ее. Ей было что рассказать: одна из сестер Суок, любовь Олеси,

жена Нарбута, прототип девочки-куклы в «Трех толстяках», она рассказывала мне, сжимая в артритных пальцах сигарету, непарадную историю советской литературы. Виктор Борисович, лежа в своей кровати, улыбался. Как водится в таких семьях об эту пору, единственным предметом их разногласий был вопрос «Кто раньше умрет». Первой умерла Сима. А дальше началась другая история.

«Душа моя лежит передо мною. Она уже износилась на сгибах».

* * *

Я ни разу не почувствовала, чтобы он боялся смерти. Он был удивительно уравновешен и ласков со всеми, со мной тоже. Чего он боялся – так это нужды. Ему нужно было каждый день работать, потому что иначе ему казалось, что она уже маячит у двери и вот-вот завладеет домом. Иногда (нечасто) он вдруг начинал нервничать, ворочаться с боку на бок и потом все же не выдерживал. «Матрена Сергевна, – кричал он, чтобы она, глуховатая, услышала его на кухне. – Сколько у нас денег?» Она торжественно, на вытянутых руках, приносила шкатулку, ставила ему на живот. Он открывал, доставал верхнюю купюру. «Двадцать пять рублей», – читал он текст на бумажке. «Любочка, это много или мало?» – «Много, Виктор Борисович, очень много». – «Ну хорошо», – тот час успокаивался он, возвращал шкатулку, засыпал.

* * *

Он был старым человеком, красивым и мощным. В своей мощи он превосходил весь совокупно молодой ВГИК, из которого я к нему приходила. Перепад температур и масштабов был трудновыносимым.

За время нашей с ним работы мы подготовили к печати новую «Теорию прозы» и начали «За шестьдесят лет».

Когда он умер, я была беременна Ньюшей и плохо поняла, что произошло.

Сейчас понимаю лучше.

* * *

«Сгибали душу смерти друзей. Война. Споры. Ошибки. Обиды. Кино. И старость, которая все же пришла. <...> Память разошлась кругами. Круги дошли до каменного берега. Прошлого нет. К берегу ушли круги, кольца любви. Не сяду у моря, не буду ждать погоды, не позову свою рыбку с золотыми веснушками. Не сяду ночью у моря, не буду черпать воду старой коричневой фетровой шляпой. Не скажу: „Отдай мне, море, кольца“. <...>

Утром, в час, когда уже можно отличить белую нитку от голубой, я говорю слово – Любовь. Солнце вылилось в небо».

Иосиф Бродский

Как он возник в проеме двери, я даже попятилась от неожиданности – не думала, что он не только Бродский, но еще и так прекрасен. Страшно сказать, сколько лет назад это было.



Я пришла к поэту в гости на Мортон-стрит. Вообще-то пришла я по поручению Самуила Лурье. Миссия моя была в том, чтобы он разрешил публикацию «Сонетов к Марии Стюарт». Он разрешил и с легкостью подписал бумаги, которыми меня снабдили. Но визит коротким не вышел, мы проговорили шесть часов, и диктофон с его разрешения я включила. То есть не диктофон даже, а огромный магнитофон с ужасающим качеством звука. Через год возник «Сеанс», и из пухлой расшифровки я сделала пять страничек текста. Помню, как приезжали друзья в комнату мою на Васильевском острове (ту самую, с деревом под окном) и, прижимая к уху эту бандуру, жадно слушали его голос. Кассета со временем размагнитилась, расшифровка пропала в многочисленных переездах, а я, конечно, не могу восстановить в памяти его слова, каждое из которых – на вес золота. Могу только с точностью восстановить свое ощущение. Мы были из разных миров, я стеснялась: и облупленных носков старых сапог, и провинциальности своей, выражавшейся во всем рядом с ним – в немодной одежде, в неумении изящно отвечать на необязательный флирт, в несогласии променять свое дерево под окном на шум океана. Я тогда еще не читала тех его строк, которые сегодня для меня одни из главных.

«Что происходит в России? Государство рассматривает своего гражданина либо как своего раба, либо как своего

врага. Если человек не подпадает ни под одну из этих категорий, государство предпочитает все-таки рассматривать его как своего врага со всеми вытекающими последствиями».

«Люди вышли из того возраста, когда прав был сильный. Для этого на свете слишком много слабых. Единственная правота – доброта. От зла, от гнева, от ненависти – пусть именуемых праведными – никто не выигрывает. Мы все приговорены к одному и тому же: к смерти. Умру я, пишущий эти строки, умрете вы, их читающий. Останутся наши дела, но и они подвергнутся разрушению. Поэтому никто не должен мешать друг другу делать его дело. Условия существования слишком тяжелы, чтобы их еще усложнять».

1988

Ниоткуда с любовью

– ...и если посмотреть на наших девушек или на молодых людей, на то, как одеты они, и дело даже не в тряпье, это ведь преступление системы – и не политическое преступление, а преступление антропологическое, преступление против вида. И это производит очень сильное впечатление. Ну неважно, не стоит об этом.

– *Ну почему? О чем же еще говорить, если не об этом?*

– Об этом не стоит, и знаете почему? Тут мой приятель приехал, я его встретил в аэропорту, и он мне сразу стал рассказывать, сразу же, о последних несправедливостях, которым его подвергли в Союзе писателей.

Излагал в аэропорту, во всех подробностях. Я ему говорю: «Слушай, это тянет в лучшем случае на мемуарные записки, уже на рассказ это не тянет». Он говорит: «Почему?» – «Да очень просто, – говорю я. – Рассказывая, ты как бы удлиняешь реальность того, что с тобой произошло, а этого не следует делать. Уж коли это происходит и этого не избежать, о'кей, это можно пережить, но вместе с тем ни в коем случае нельзя этого удерживать в словаре, в разговоре. То есть нельзя этому сообщать дополнительное измерение». Он говорит: «Я так не могу. Я не могу не обращать внимания на людей, даже если они дурные». Я говорю: «О-о-о, это отечественная выучка, которую мы все прошли». Он говорит: «А что ты предлагаешь?» Я говорю: «А есть другой вариант. Проноситься сквозь это, не обращая внимания, то есть тотчас об этом забывая». Он говорит: «Я так не могу, я не могу не обращать внимания».

Хотите, я разбужу для вас кота?

– *Вы плохо помните, может быть. Он правда не может.*

– Я знаю, что он не может. Я говорю ему: «Я знаю, что ты не можешь, но, может быть, не обращая внимания, не рассказывая об этом и ведя себя таким образом, что потом об этом рассказывать не будешь, ты больше пользы принесешь себе,

и им тоже. Потому что когда человек знает, что он негодяй, и знает, что измывается над тобой, и знает, что это произведет на тебя впечатление, что это надолго в тебе останется и другому будет передано, – это как бы укрепляет его в его положении. В то время как если ты смотришь на него вынужденным образом и он знает, что ты забудешь о нем через пять минут, это может его каким-то образом подвинуть в другую сторону. Во всяком случае, тут у него есть шанс к перемене, а в первом случае – нет». Он говорит: «Ты этому в Америке научился». Я говорю: «Я не в Америке этому научился, так было всегда». В Америке я поэтому оказался в известной степени. Но, с другой стороны, я понял, что в этом есть доля истины. Потому что это действительно в известной степени местный взгляд на вещи, то есть американский взгляд на вещи. – *Но это абсолютно не российская черта.* – Да, совершенно верно, но все-таки скорее это человеческая черта, возможно, делить на российское и не российское здесь не следует, а может быть, и следует. Но соотечественникам не мешало бы этому научиться. Это чрезвычайно важное знание. – *Не соотноситься с обстоятельствами, с окружающей действительностью?*

– Ага... Не уделять им того внимания, на которое они рассчитывают. – *В наших текстах слово privacy обычно дается без перевода, потому что эквивалент найти невозможно. Будничное понятие «частная жизнь» у нас переходит в категорию этики и едва ли не героики.*

– И все же я там, а не в Америке этому научился. Я думаю, в чем была моя беда там, почему все так для меня оборачивалось и так все обернулось с моей милостью, – это я оглядываюсь назад. Потому, вероятно, что я действительно не обращал внимания на то, что происходило со следствием, на то, что следователь говорил и так далее, и так далее, и это их, конечно, колоссально выводило из себя. Я не думаю, что это было рациональное определение выбора. Я также не думаю, чтобы это было делом исключительно темперамента. Это когда книжки читаешь и, начитавшись, уже совершенно не в состоянии воспринимать эту реальность навязанную и воспринимаешь как реальность низшего порядка. Тогда, что ли, книжек не читать? А если уже так случилось, что уже прочел? Ха-ха. И только так их можно перевоспитывать. Если вообще задаваться такой целью. Я вот вел себя таким образом, совершенно не исходя из соображений перевоспитания. Просто было не до этого, ха-ха. Задавайте ваши сложные вопросы.

– *У меня нет сложных вопросов.*

– Кота, что ли, разбудить? Замечательная история в связи с разбуженным котом. Где-то в 1960-х годах в Югославии к моему другу приехала какая-то дама, то ли лейбористка, то ли консерватор, в общем, из парламента. Он колоссально воодушевился. Дело происходило зимой.

Он не знал, как ей продемонстрировать свои сантименты. У него был свой собственный зоопарк на том острове, где

он жил, и вот, чтобы продемонстрировать ей свою страсть, он сказал: «Хотите, я для вас разбужу медведя?» Дело было зимой. И медведя разбудили. Ха-ха. Хотите, я разбужу для вас кота?

Что же вы молчите? Я слышу. Я все прекрасно понимаю, но я слышу в этом следующее. Мы говорим с вами, и я слышу страхи, опасения, надежды, неуверенность человека, выросшего так же, как и я, в тоталитарном государстве. Это страна, которая, в общем... Почему я говорил об антропологическом преступлении... Что происходит в этой системе... То есть вы, когда рождаетесь в ней, когда вы в ней живете, и даже сейчас, когда какие-то там свободы... это все равно сознание загипнотизированности существующей реальностью. Она у вас на глазах начинает меняться, и тем более вас гипнотизируют эти перемены. Ибо это единственная существующая для вас реальность. И то, что происходит, правильное или неправильное, вы отгадываете... Почему я говорю про загипнотизированность, потому что это поработывает ваше сознание... То есть любую оценку, которую вы по отношению к этому можете выработать, вы даете изнутри этой системы. Это все равно оценка внутри авторитарной системы. То есть чудовищность этого положения в том, что... Хотя, может быть, на сегодняшний день это чуть-чуть иначе, для вас, лично Любы, но в принципе, что бы ты там ни делал, как бы ни крутился, какие бы тебя озарения ни посещали или, наоборот, в какие бы ты бездны ни опускался, это

все равно озарения и бездны внутри определенной ограниченной системы.

То есть ты не можешь взглянуть на это как бы извне, да?

То есть таким отстраненным и диковатым глазом. То есть что это происходит и, может быть, всего этого в известной степени и нет? Да? Да? И степени отсутствия этого «нет», они разные. Они могут быть разными. Это может быть тот самый диковатый взгляд изнутри. А может быть и то, о чем я говорю. Когда этого не «как бы», а действительно нет. Для меня этого – нет. На сегодняшний день, потому что я живу вовне. Но то, что я существую вовне эти шестнадцать лет, это не следует понимать так, то есть это не является... то есть помимо того, что это чисто физическая роскошь, но помимо физической роскоши это продолжение следует от того диковатого взгляда на все это, который некоторым в моем поколении был присущ. И что меня колоссально огорчает...

Вот вы говорите «Память»¹, не дай бог, произойдет то, произойдет это, и я понимаю, что в этом мы живем и от этого невозможно отделаться, но вся хитрость в том, чтобы от этого отделаться. Я даже думал совсем недавно о том, что даже самое святое существо, даже представим себе какого-нибудь современного Зосиму, даже если его посещают откровения... приходит какое-то прозрение.

¹ Общество «Память» – ультраправая антисемитская организация, деятельность которой к 1987 году достигла пугающего расцвета. – *Здесь и далее примеч. автора.*



Первая редакция журнала «Сеанс». 1989

Что в результате этого прозрения происходит? Он начинает думать о мире, о высшем существе... И высшее это существо и этот мир, и альтернативную эту иерархию, альтернативную систему ценностей, он все равно будет перестраи-

вать по той иерархической сетке, в которой он воспитан и в которой он существует. То есть если он будет говорить о Боге, он будет говорить о нем как о верховном существе, как о существе, которое выше начальника. То есть о том, что находится сверху. Он не подумает о том, что это сбоку где-то может находиться. Это ему в голову не придет. И в этом катастрофа. Потому что эта система, она конструирует человека по своему подобию.

Или человек конструирует себя по ее подобию. Я уж не знаю, где тут яйцо, где тут курица.

– Это понять невозможно, когда имеешь дело с системой, по-своему гениальной, – она ведь идеально самовоспроизводится, даже в тех, кто находится в сознательной к ней оппозиции. Отечество тем временем, как всегда, нуждается в пророках. И как всегда – иных уж нет, а те далеке.

– Да, да... Самовоспроизводство. Но вот почему всегда они наседали на всякие потусторонние системы восприятия – буддизм, скажем, индологию? Хотя они ничего этого не знали, но они чувствовали в этих системах, в этих версиях миропонимания иную иерархию, иную иерархическую структуру. Вот почему это преследовалось и приравнивалось к оппозиции. Вот ведь в чем печаль. Не в том, что человеку не дают из этой сетки выскочить. А в том, что, выскочив, он немедленно начинает строить такую же сетку. Вообще все зло у нас происходит от одной простой вещи: когда один человек начинает думать, что он лучше другого. «Я

лучше, чем он» – это корень зла. Когда человек ставит себя выше себе подобного. – *Но это же космополитический сюжет, абсолютно не зависящий ни от каких социальных реалий.* – Совершенно верно. Но его можно формализовать, а можно не формализовывать. – *И не только ведь к человечеству эта проблема относится. Есть же замечательная история Даррелла про то, как он выпустил зверей из зоопарка, а они все вернулись.* – Ну да, совершенно верно. Знаете, единственное, на что я надеялся, – что в моих писаниях хотя бы этого нет. Вот это в себе надо закреплять. – *У вас свои страхи...*

– Страхи? А какие у меня страхи? А где вы живете в Ленинграде? – *На Васильевском острове.* – Где именно? – *На Девятнадцатой линии.* – А где на Девятнадцатой?

– *Угол Девятнадцатой и набережной Шмидта.* – Окна куда выходят? – *На Девятнадцатую линию. Из окна видны красный трехэтажный дом и дерево. Вы задали этот вопрос – про окна. А я как-то думала: смех, конечно, но мне страшно подумать о том, что из коммуналки надо выезжать и отказываться от этого красного дома и дерева из окна.* – Отказаться можно от всего. От всего можно отказаться. – *Нет. Вы, наверное, очень свободный человек. Мне нечем гордиться. Если понимать привязанности как рабство, я вынуждена согласиться с тем, что моя сущность – рабская. Впрочем, если и страх понимать как рабство – тоже.*

– Знаете, помимо того, что мы говорили, помимо поли-

тической системы... Я думал о том, что с русским народом произошла некая диковинная история. Наверняка мои суждения на эту тему – любительщина...

И все же. Помните, как нас учили в школе... С формированием психологии, сознания... Как учили? Что все это так развивалось: сначала были кочевники, потом оседлые... Что эволюционировал вид – человек – от кочевого образа жизни к оседлому. Я думаю, что эта версия истории, что она ведь сочинена людьми оседлыми и уже, таким образом, окрашена в определенные тона...

А я думаю, что все могло быть наоборот. Были оседлые, а потом появляются кочевники, и уже приходится сматывать-ся. Ну вот, скажем, у вас есть красный дом и дерево, вы живете, а потом появляется кто-то другой, кому тоже тут понравилось. И он помоложе вас, поздоровее, и разоряет ваше жильё, и присваивает себе ваше место.

И вам приходится уходить. Так. Я думаю, что русские перешли к оседлому образу жизни сравнительно недавно, может быть, тысячелетие назад. И потому очень за свою оседлость держатся. Оседлый человек почему кочевника боится? Не потому, что кочевник может разрушить его жильё. А потому, что кочевник как бы компрометирует идею горизонта, существующую для оседлого человека. Да? И это, может быть, даже не столько русская черта, сколько континентальная, то есть европейская. То есть историческая в некотором роде. Потому что все, что существует на континенте, то есть

до Урала по крайней мере, строго разграничено... Сеточка та же самая. То есть скачи не скачи – прискачешь к следующей границе. А чем, скажем, для меня было замечательно, до известной степени, неким умозрительным образом – перемещение сюда? Тем, что здесь за каждым кустом-некустом – стоит океан, и этот гигантский океанский вздох: «Ну и что?..» Океан, который компрометирует все это разделение на квадратики и клеточки.

Почему я говорю, что можно от всего отказаться? Потому что в некотором смысле океана и пустоты в этом мире больше, чем пространства, заполненного деталями, и так далее.

– *А у вас вид океана вызывает восторг или ужас?*

– И то и другое. И то и другое. Да. Это все-таки лучше, чем все остальное. Я говорю не как оседлый человек, а как кочевник. Так случилось, что в тридцать два года выпала мне монгольская участь. И отказываться от этого... и возвращаться к тому... То есть я слушаю... но слушаю как бы из седла. О том, на что оседлые себя обрекли и как они страдают, да? Наверное, это и раньше было.

Кончится это, конечно, плохо все. Кончится это в большой гостинице какой-нибудь. К большому неудовольствию обслуживающего персонала. Ха-ха... Но это уже такие... дополнительные заботы.

Просто когда все это произошло... В 1972 году, 10 мая...

Или, вернее, когда я оказался 4 июня в Вене и меня приехал встретить из Штатов мой приятель. Он спросил меня:

«Ты куда собираешься?» Я говорю: «Понятия не имею». Это происходило в аэропорту. Он говорит: «Как ты относишься к тому, чтобы поехать в штат Мичиган?

Мы тебе предлагаем». Я говорю: «Замечательно, согласен».

Я просто понял, что... Конечно, можно было еще попытаться... Остаться в Европе, в Англии, во Франции или лучше всего в Италии. Где все-таки существовало какое-то ощущение продолжения... Но я понял, что продолжения быть не может, что если уж терять, то до конца. Все потерять и от всего отказаться. Может быть, с таким окончательным концом и приходит ощущение бесконечности.

– Я понимаю, у вас как бы и выбора не было, но такой ценой – пусть даже за бесценное, но... умозрительное... или умозрительное – для меня? И для меня океан был самым большим здесь потрясением, хотя раньше казалось, что океан – то же, что море: вода, небо и линия горизонта... Но от этого чувственного потрясения, пусть самого неожиданного и сильного, все равно уходил в близкое и понятное, в тепло привычек реальной жизни. Когда вы говорите: «Ощущение бесконечности», мне скорее жутко, чем... понятно. И жуть-то от нежелания почувствовать то, что вы говорите. То есть я хочу понять, но боюсь почувствовать.

– Видите ли, без истории человек еще может существовать, но без географии... Это я вам к тому говорю, что не на-

до позволять себя загипнотизировать... тем, что происходит у вас под носом... что говорит начальник с трибуны или какой-нибудь подонок из Румянцевского садика. Это все происходит в этой точке пространства. В другой – этого уже не происходит. Многие этого не понимают. Я помню, когда-то при чтении Гегеля я подумал: какая прекрасная стройная система, вот он сидит, рассуждает, а там, через Па-де-Кале, Ла-Манш, там совершенно другие дела происходят, и никто не знает, что Гегель это придумал, и пройдет еще сто-двести лет, пока его переведут и это начнет морочить им голову...

– *А вы к нам в гости приедете?*

– Я не знаю, я не в состоянии поехать в гости. Туристом. Ха-ха.

– *Почему туристом?*

– Ну а кем? Гость-турист. Это раз. И... Я, Люба, не маятник. Раскачиваться туда-обратно. Наверное, я этого не делаю. Просто человек двигается только в одну сторону, Люба. И только. И только – от. От места, от той мысли, которая приходит ему в голову, от самого себя. Нельзя дважды в одну и ту же реку. И на тот же асфальт дважды не ступишь. Он с каждой новой волной автомобилей – другой. Это моя старая шутка, что на место преступления преступнику еще имеет смысл вернуться, но на место любви возвращаться бессмысленно. Там ничего не зарыто, кроме собаки.

Но дело даже не только в этом. Хотя и в этом, и в другом, и третьем. Но дело в том, что либо просто с моим личным

движением физическим, либо просто с движением времени – становишься все более и более автономным телом, становишься капсулой, запущенной неизвестно куда. И до определенного времени еще действуют силы тяготения, но когда-то выходишь за некий предел, возникает иная система тяготения – вовне. И там, как на Байконуре, никого нет. Вы понимаете?

– Простите, вы же не могли рассчитывать на равноправного собеседника, и я честно во всем призналась, объяснившись по поводу рабства, океана, красного дома с деревом под окном. В той, обычной системе тяготения, которую вы, возможно, хотя бы помните, – возможно, относительные ценности, но сила тяготения не уменьшается от осознания их относительности.

– Но по-другому еще... У Мандельштама в одной прекрасной статье описывается история с первым русским посольством, по-моему, еще при царе Алексее Михайловиче. О том, как они уехали и не вернулись. Мандельштам пишет: «Нет возврата из бытия в небытие».



Дом, в котором жил Иосиф Бродский. Нью-Йорк.

Foursquare

«Здесь за каждым кустом-некустом – стоит океан, и этот гигантский океанский вздох: „Ну и что?“. Океан, который компрометирует все это разделение на квадратики и клеточки»

– Вот вы вспомнили Мандельштама, и я думаю... Неужели то обретение, состояние, которое вы описываете, я называю «свободой», а вы морщитесь и поправляете: «ощущение бесконечности», вот это «оно», что для вас так же конкретно, как любовь или отчаяние, а для меня так же завораживающе абстрактно, как, скажем, понятие «вселенная»... Но, одним словом, вот это существование вне сетки, и иерархии, и даже отрицания иерархии, и вот это ваше «вне», а даже и не «анти»... неужели оно так конкретно связано с географическим месторасположением? Не кому-нибудь, Мандельштаму, у которого пространство было не только разграфлено на клеточки, но и разгорожено красными флажками, а количество физически доступных клеточек сведено к трагическому минимуму нескольких убежищ в обеих запретных столицах... Как возможно было там отрешиться и воспарить? И не спасли, не вознесли никакие движения от. По воспоминаниям Надежды Яковлевны – часами, днями, неделями – как чиновник посмотрел, и что он сказал, и что бы это значило... И вечер в Союзе писателей, и сборник, это было важно, насыщено, это было крайне важно каждый день, и съедало душу, и отнимало неумолимо у поэтического вдохновения.

– Вы никогда не сидели в тюрьме и, дай бог, никогда не доведется, но человек, находящийся в тюрьме, и особенно под следствием, становится чрезвычайно суеверным. Он пытается истолковать всё, самые незначительные детали становят-

ся знаками, приметами. Выражение лица коридорного, как коридорный его толкнул, что принесли пожрать и так далее, и так далее.

Сны – чрезвычайно важно. И очень часто все совпадает. Почему это происходит? Наверное, если бы вы были не в тюрьме, вы бы с меньшим вниманием к снам своим относились, и вообще к тому, что попадает в поле вашего зрения. Тот факт, что они об этом говорили, что им это было важно, говорит только об одном: в каком месте они находились. И единственное, чем можно внести в это какую-то смягчающую христианскую нотку, – что время все равно так или иначе проходит, независимо от того, о чем говорить: о Гегеле, о попугаях или о том, какое выражение лица у следователя. Оно все равно проходит. Все зависит от того, как ты его сам себе... ну, что ли, организуешь. Если у тебя есть выбор. Если же нет выбора... Но тогда не надо забывать, где ты находишься. И уже хотя бы от этого тобою овладевает колоссальное презрение к реальности. Вот я думаю все-таки, что Марина Цветаева, она в эти анализы не вдавалась. У нее была такая замечательная строчка: «На твой безумный мир ответ один – отказ».

...Вот смотрите – кот. Коту совершенно наплевать, существует ли общество «Память». Или отдел идеологии при ЦК. Так же, впрочем, ему безразличен президент США, его наличие или отсутствие. Чем я хуже этого кота?

Лидия Гинзбург

В ее доме не было признаков старости. Это поражало в первый момент, но потом как-то забывалось. Даже не замечалось, как и ее возраст. Не спрашивали – разговаривали. Не благоговели – общались. Разве умилялись тайно: большим мягким шлепанцам, в которых утопали маленькие ступни. Радуюсь, называли ее «патриархом авангарда». Она, смеясь, отнекивалась... Есть степень мудрости, гибкости интеллекта, предполагающая и предлагающая паритет. Паритета не было, конечно. Но на время разговора он возникал.

За этим тоже приходили.

И вот – разговор, состоявшийся за месяц до, теперь перенесенный на бумагу. Разговор, который в печати принято называть интервью. Но это не было интервью, это записи на манжетах, случайные обрывки разговоров, которые в троллейбусе не лень было перенести в блокнот.



Через несколько месяцев ее не станет. Рой вопросов, которые не были заданы, не успела, проворонила, – кипел в голове и будет кипеть еще долго. Но тогда, в тот майский день, когда ее хоронили, думалось только о том, что в момент, когда все случилось, она была в квартире одна.

Нас восхищал тот стоицизм, то человеческое достоинство, с которым она переносила полное свое одиночество, не имея семьи, похоронив всех друзей и современников, – вместо этого щенячьего восхищения надо было больше жалеть и понимать, почаще скрашивать его. Хотя бы гостеванием, к которому она трогательно готовила графинчик водки и картошечку с селедочкой.

В дверях, провожая, она обычно говорила: «Вы приходите, не стесняйтесь». Мы воспринимали это как знак вежливости, потому что были глупыми молодыми поклонниками. А она ведь каждый день репетировала этот момент: квартира с книгами и почти безо всяких следов быта, осознание, что сейчас произойдет то, что неминуемо происходит, – и она в ней одна.

«Утрачены иллюзии, утрачены ценности.

Вы хотите назвать это трезвостью?»

– ...то, что принято теперь называть современным аван-

гардом. Не знаю, могу ли я судить, но мне это кажется повторением давно пройденного.

– *Лидия Яковлевна, никто не сможет дать достоверного объяснения, что теперь принято называть современным авангардом.* – Но для себя вы как-то определяете? Вот в прошлый раз вы говорили о необычайном авторитете ОПОЯЗа в вашей среде. Мне это понятно. Это нередкий случай в истории культуры, когда поколение ищет опору, условно говоря, в поколении дедов. Через головы поколения предшествующего, поколения отцов – с которым отношения почти всегда антагонистические, отношения отталкивания. Но в данном случае хотелось бы понять конкретнее.

– *ОПОЯЗ был скорее философской системой, литературным явлением, нежели научным методом. И за бесстрастностью формальной школы без труда различаешь безумие неизлеченного пафоса. А вот, скажем, в структурализме пафос успешно излечен: это холодное препарирование, интересное только специалистам.*

– Да, но, может, вы слишком строги к структурализму? Впрочем, я не разделяла его положений, и вы правы в том, что ОПОЯЗ был силен теснейшей связью с литературой. Причем не только с литературой, ему современной, но и с литературой прошлых веков, воспринимаемой с точки зрения современного человека.

Ведь неизбежно когда-то наступает некая исчерпанность, некое изживание вымысла.

Но в чем мне видится беда современного авангарда: он кажется мне вторичным. В нем есть пафос разрушения, но это разрушение направлено на вещи, которые давно разрушены. Для человека моего поколения, которое, собственно, через все это прошло, какую еще абстрактную живопись можно придумать после Кандинского, или какие могут быть эксперименты со словом после футуристов? Для меня все это – воспоминания моей молодости. Это какой-то очень традиционный авангард. Те же «Митьки», например, которые очень авангардны в своих теоретических высказываниях и в этом своем своеобразном жизнестроительстве. А в живописи их много традиционного.

– А в прозе?

– А в прозе меньше.

– А вы читали Шинкарёва?

– Да. Я читала Шинкарёва.

– И что вы думаете, Лидия Яковлевна?

– Вы понимаете, это любопытно. Шинкарёв любопытен, но самый принцип – возьмите прозу Хармса.

– Лидия Яковлевна, про Хармса и Шинкарёва я не согласна. Это разные вещи. Хармс был эстетом. Но не Шинкарёв.

– Вот именно самый принцип был уже открыт.

– Но ведь Шинкарёв отрицает и абсурд тоже! Хармс абсурдом преобразует действительность, но Шинкарёв отказывается ее преобразовать. Он как будто бы простодушен, и только.

– Но это и есть предельная эстетизация. И они разрушают то, что было уже разрушено.

– «Митьки» не разрушают, они возникли на руинах.

– Что вы имеете в виду под руинами?

* * *

– *Лидия Яковлевна, когда вы писали, что теперь проявляете больший интерес к документальной литературе нежели к художественной, – как вы думаете, с чем это было связано? С вашими индивидуальными пристрастиями или с какой-то общей тенденцией?*

– Я думаю, что здесь, конечно, общая ситуация. Вероятно, даже мирового охвата. Наступил период – возможно, временный, я совершенно не берусь пророчить, что это навсегда, – период утомления жанра, когда жанр устает, перестает работать. Наступает некая исчерпанность, некое изживание вымысла. Причем это чувствуется довольно давно.

«Я просто не знаю, вам виднее, но вот эти тридцатилетние, выдвинули ли они что-нибудь значительное в культуре?»



Фот. Роман Хрущ. 1990

У настоящей литературы ведь сложные отношения с человеческим сознанием.

У Гольденвейзера есть замечательная запись о Толстом. (А он записывал очень точно, его записям можно верить.) Это разговор позднего периода, незадолго до смерти Толстого. Толстой ему говорил, что он уже не может писать какие-то вещи про какого-то выдуманного человека. Толстой уже тогда гениально это почувствовал.

И для современной литературы, именно для современной

литературы, очень характерно изменение позиции автора. В очень многих романах автор поставлен в особое положение. Он обнаруживает свое присутствие, что совершенно необязательно для классического реалистического романа XIX века. Такое личное, автобиографическое присутствие автора, напрямую или не напрямую выраженное, и есть характерные для современной прозы размытые границы между вымыслом и реальностью. – *Сейчас сложились довольно странные взаимоотношения между документальным и художественным – и в литературе, и в кино. В авторском художественном кино и в беллетристике сюжет размывается, в то время как документальное кино и литература, напротив, тяготеют к сюжету, к организованности. В неигровом кино создается чаще всего авторский сюжет, не претендующий на объективность.*

– В эпоху процветания вымысла документалистика занимала свое, строго функциональное место. А тут она переходит границы, перевыплескивается. В то же время есть какие-то навыки построения сюжета, и документалистика устремляется на это место. Это встречное движение.

– *Но у этого встречного движения есть еще один, отдельный и параллельный ему поток. «Усталость вымысла» действительно страшно ощутима, но вот появляется «Рабыня Изаура», и – невероятный успех во всем мире.*

– Я смотрела «Рабыню Изауру», это ужасно интересно (хихикает). Это особый жанр абсолютно условной и чисто сде-

ланной вещи. Мне сейчас в каком-то смысле трудно читать психологические романы. А детективные романы я читаю с удовольствием. Тут условность обнажена. Вас хотят развлечь теми или иными перипетиями сюжета, и это к вашей душевной жизни не имеет отношения. И вы к этому предъявляете совершенно другие требования. То есть ничего не предъявляете. Это не претендует на вашу душу. У настоящей литературы ведь сложные отношения с человеческим сознанием. А тут их нет.

– Но если у искусства с жизнью складываются такие отношения, значит, можно говорить о кризисе, и довольно серьезном. – Если мы говорим о Европе и Америке – о Востоке я судить не берусь, – безусловно. Возьмите первую треть XX века. Это совершенно необыкновенный расцвет. У нас – Серебряный век, затем все революционное и постреволюционное искусство. Там – одновременно Пруст, Джойс, Кафка, Манн. Сейчас нет имен этого уровня. Вот у меня бывают американские слависты. Я им всегда задаю вопрос: «Кого вы считаете у себя действительно выдающимся писателем? Из живых». Знаете, пока жив был Набоков – они его называли. А сейчас разводят руками. Есть хорошие, серьезные писатели, но гениев... – *А у нас они есть?* – Нет, я о том вам и толкую. Если сравнить положение дел сегодня, примерно одна и та же картина. Нет ведь даже мало-мальски значимой философской системы. Странно, не правда ли? Мы шли такими разными путями. А пришли к совершенно аналогичным

процессам.



Из архива Александра Кушнера

И знаете, с приходом этой нынешней свободы я совсем не ощущаю в людях, особенно молодых, того подъема душевного, которым, безусловно, сопровождалась так называемая оттепель. Я помню в начале 1960-х Сашу Кушнера, Андрея Битова, других молодых поэтов и писателей. У них были этот душевный подъем и ощущение каких-то ценностей, может быть, иллюзорное.

Это было характерно для общего сознания и для молодых

людей на попроще культуры. А ведь сейчас гораздо дальше дело зашло. Даже странно сравнивать, что говорили и писали тогда – и что говорится и пишется сейчас. Это несравнимые вещи. А в то же время чувство освобожденности и веры в какие-то новые формы жизни – оно было тогда гораздо сильнее. Сейчас этого нет. Вы понимаете, это же неестественно для молодости. И плодотворно ли? Я просто не знаю, вам виднее, но вот эти тридцатилетние, выдвинули ли они что-нибудь значительное в культуре?

* * *

– Лидия Яковлевна, сюжет молодости оттепели – обретенные иллюзии, сюжет молодости 1960-х и 1970-х – утраченные иллюзии. Наш сюжет – их изначальное отсутствие. Это наша вина? Нет. Хотя кто знает, что будет дальше. Чтобы сводить счеты с собственной молодостью, необходима дистанция, с которой можно ее увидеть. Но нельзя иллюзии ставить себе в заслугу. Когда-то трезвость должна была прийти?

– Для этого должны были совершиться разные исторические события. Иногда поколение, у которого много иллюзий, оказывается необычайно творчески продуктивным. В начале 1960-х казалось, что произошло возрождение поэзии. В этом было много странного и несерьезного, но было и серьезное творческое движение. Сейчас с точки зрения последую-

щих событий это можно рассматривать как иллюзии, но тогда можно многие вещи в истории рассматривать как иллюзии, потому что мы знаем, чем процессы кончались, мы знаем дальнейший ход истории, и для нас ясны ошибки, заблуждения людей. Это свойство всей истории человечества. Будущее всегда бросает определенный свет на предыдущие события. Другое дело, что вам не пришлось выбирать и вы действительно угодили в эпоху, когда иллюзии были уже утрачены. И – что гораздо хуже – утрачены ценности. Вы хотите назвать это трезвостью. Но трезвость ведь по-разному можно трактовать. И она не плодотворна для искусства, во всяком случае для поэзии. Да и вообще. Даже у проклятых поэтов, которым не суждены были ни пафос, ни иллюзии, все равно было чувство плодотворности и пафоса отверженности. Ваша война с «шестидесятниками», например, немного детская. И немного завистливая.

– Лидия Яковлевна, я не воюю с «шестидесятниками». Это Тимофеевский воюет. А поскольку он модный и самый умный из нас, кажется, что воюют все. Скорее всего, вы опираетесь на его громкую статью в «Искусстве кино» «Последние романтики». – Вот я бы и не определяла «шестидесятников» в целом как романтиков. Среди них есть и антиромантики, и я их за это люблю, потому что я тоже антиромантик.

Для романтизма чрезвычайно важно положение личности, ее статус. В этот романтический статус традиционно

входило противопоставление избранной личности толпе, вот это чувство отъединенности, противопоставленности. Бродский уже не принадлежал к «шестидесятникам», у него не было иллюзий, никогда. И он всегда ощущал себя поэтом, избранником. Ну и это не то, что мне близко в Бродском, хотя я очень высоко его ценю и ставлю. Когда человек дошел до отчаяния и его потерял, у него ничего уже не осталось – вот что такое Бродский.

– Лидия Яковлевна, но ведь «шестидесятники» существовали в системе ценностей, которая опиралась на социум. А Бродский, мне кажется, не противопоставлял, он просто вынес себя за этот круг.

– Вот именно это гораздо более романтическая акция, чем опираться на социум. Вы понимаете, очень современный поэт Мандельштам, который никогда не говорил о том, что он поэт, говорил, что надо быть с гурьбой и гуртом. Он очень хорошо понимал, чем он отличается от обыкновенных людей. Это ощущение поэта, который говорит за всех, который может сказать то, чего все сказать не могут.

– Лидия Яковлевна, мне кажется, что Мандельштам с таким изумлением и даже... страхом прислушивался к своему дару... А Бродский мужественно равен. И мучительно. И он ведь жизнь прожил как поэт, он же за это заплатил.

– Но он имеет мировую славу.

– Но это по заслугам.

– Это, несомненно, по заслугам. Однако нельзя назвать

его непризнанным, заброшенным поэтом, каким полагалось быть романтику.

«У Пушкина было любимое изречение: „Главное – не теряйте отчаяния.“ Это серьезное изречение. Потому что, когда человек дошел до отчаяния и его потерял, у него ничего уже не осталось»



– *Но и Байрон не был непризнанным и заброшенным.* – Байрон, между прочим, в Англии был совершенно непризнан. Байрона, как известно, признали во Франции и в России. Во всяком случае, при жизни его совершенно не признавали в Англии. Нет, в смысле славы, конечно, заслуженно. Еще бы. Но не всякий при жизни пожинает то, что он заслужил. – *Мне кажется, что он от этого не счастливее.*

– Ну от этого вообще люди счастливее не становятся.

* * *

– Но Бродский – большой поэт, и для него ценностью является сам факт претворения жизни в искусство.

Сам этот факт, других ценностей у него может и не быть. А это уже очень много. То есть я хочу сказать, что отсутствие целей, ценностей, иллюзий – это время, которое суждено, которое поколение не выбирает. Но если среди его представителей находятся настоящие художники, то от этого и рождается искусство, на сопротивлении, на претворении.

– *Лидия Яковлевна, значит, все-таки речь не о плодотворности иллюзий и не о бесплодии трезвости, а о проблеме дара, не зависящего ни от того, ни от другого?*

– Ну разумеется. Только дар всегда уникален, но полезно также размышлять и о каких-то общих процессах.

– *Лидия Яковлевна, мы размышляем.*

– *Лидия Яковлевна, пусть авангард вторичен. Лично я вообще предпочитаю Диккенса. Но я понимаю, что уникальность нашего авангарда – в отстранении от слов, когда-то составлявших этическую систему: «нравственность», «духовность», «интеллигентность» и тому подобное. Запрет на них.*

– Но эти слова и понятия тем не менее существуют.

– *Не само понятие нравственности, но выставление его, суд – вызывают желание уйти и закрыть за собой дверь.*

– Ну это неправильная реакция. От проблемы нравственности не уйти. Потому что, в конце концов, это проблема поведения.

– *Но проблема поведения в таком случае решается индивидуально. И первая, необходимая стадия – это отчуждение. Я думаю, что это философия не последнего отчаяния, а уже следующей комнаты после последнего отчаяния.*

– Да. Я только думала, что после последнего отчаяния уже наступает последнее равнодушие. – *Лидия Яковлевна, похожи они на равнодушных?*

– Нет. Но со следующими это может уже произойти. У Николая Николаевича Пунина было любимое изречение: «Главное – не теряйте отчаяния». Это серьезное изречение. Потому что, когда человек дошел до отчаяния и его потерял, у

него ничего уже не осталось.

Рустам Хамдамов

1992

Анна Карамазофф. Исчезновение

Перед самым концом перестройки мы с ныне покойной моей подругой Леной Ворониной оказались в Бретани на фестивале в небольшом приморском городе Нант.



Это была наша первая заграничная командировка: «Сенс» подготовил для фестиваля кинопрограмму и выпустил про нее целый номер журнала. Когда пришло время уезжать, мы приняли волевое решение: оказаться во Франции и не увидеть Париж было просто невозможно. Нам выдали гонорар в франках, и мы попросили дирекцию фестиваля снять нам самый-самый дешевый отель. Войдя туда с вещами, мы увидели, что нас поняли слишком буквально: это оказался притон, наполненный блядами и сомнительными личностями восточной наружности. Помимо задачи увидеть Париж и умереть от счастья, было также запланировано купить как можно больше вещей, продуктов и игрушек нашим маленьким дочкам – в Ленинграде об это время в магазинах было хоть шаром покати, а дешевая французская куртка за пять франков там выглядела как самая роскошнейшая вещь. (В одной из таких курток, купленной на вырост, моя Нюша проходила лет пять – сначала как в длинном теплом пальто с капюшоном, а потом как в коротеньком полупердончике.) Отель вызывал ужас, поэтому решено было уходить из дому рано, питаться водой из-под крана и дешевыми багетами, делить время между культурными ценностями и детским шопингом, а возвращаться до темноты и запираяться на ключ. Где-нибудь на третий, скажем, вечер, когда мы тряслись от страха и как манны небесной ждали утра, вдруг раздался телефонный звонок. «Не подходи!» – закричали мы хором.

Но телефон не унимался. Звонили с ресепшна. «Але...» – дрожащим голосом сказала я, все-таки сняв трубку (то, что дверь заперта на замок, как-то придавало решимости). Без «здрассе», без имени, ни моего, ни собеседника, в трубке раздался не голос даже, а шелест. И этот голос-шелест нес какой-то бред:

– В Медоне, куда меня привез этот проклятый Давид, нет никакой связи с миром. Знаете Медон? Это пригород Парижа, здесь Цветаева жила. Адвокаты подонки, они мне все врут. Нет денег, нет еды. Где мой фильм, я спрашиваю?! – У меня? – осторожно спросила я. – Я ничего не знаю о вашем фильме. И не знаю, кто вы. И не знаю, как вы меня нашли.

– Мне на фестивале дали ваш номер. Какая разница, как я вас нашел? Почему вас волнуют какие-то глупости, когда я погибаю тут с этим Давидом, который все врут, как и адвокаты? – Кто вы? – наконец поинтересовалась я. – Я Рустам Хамдамов. В памяти немедленно всплыло подростковое воспоминание: репортаж о съемках фильма «Нечаянные радости», который снимал в моем родном городе режиссер с неизвестной мне фамилией. Увидеть настоящие съемки! И какие красивые фотографии! Съемочную группу я тогда не нашла, а фильм с двумя волшебными женщинами на журнальной странице, сколько я ни ждала его, так и не вышел в прокат.

Спустя годы, учась во ВГИКе, где Рустам, человек-невидимка, был легендой, я узнала всю историю. Автор диплом-

ного фильма «В горах мое сердце» и незавершенного (запрещенного, подлежащего уничтожению, но чудом сохранившегося) материала к фильму «Нечаянные радости» оставался одним из самых загадочных персонажей отечественного кинематографа, яркой легендой, фигурой мифологической, окутанной шлейфом тайн, загадок и недомолвок. Его известность была в некотором смысле эфемерной: ни первый фильм, ни материал второго никогда не были обнародованы, у их автора не брали интервью, о нем не писали статей и исследований, даже сама его фамилия почти никогда не упоминалась в прессе. Тем не менее для профессионалов и околокинематографической публики фамилия Хамдамов звучала таким же паролем, как и фамилия Тарковский, – разница была лишь в том, что последний был признанным, хоть и опальным, классиком, о творчестве которого при желании можно было составить собственное представление; первому же достался лишь таинственный ореол загубленного гения, не имеющего ни малейшей возможности (или не желающего – вопрос станет актуальным много позже) предъявить современникам доказательства собственной гениальности. Факты, однако, были таковы. Хамдамов, уроженец Ташкента, в 1969 году окончил режиссерский факультет ВГИКа, во время учебы снял фильм «В горах мое сердце» и почти сразу же получил самостоятельную постановку на «Мосфильме» по сценарию Андрея Кончаловского и Фридриха Горенштейна. В сценарии была выгодная фак-

тура: белогвардейский Крым, закат русской немой фильмы с ее изломанными линиями и вырожденческими лицами, с ананасами в шампанском, белыми костюмами, парусиновыми шляпами, узконосыми туфлями, декадентским гримом и страстями на разрыв аорты; а также рассвет новой жизни, которая отвоевывается у прошлого с помощью слезки, арестов, маузеров, выстрелов в затылки лютых врагов.

Рассвет новой и прекрасной жизни дебютант Хамдамов отменил за ненадобностью, сосредоточился на закате прежней, ушедшей натуры и фактуры. Как-то само собой получилось, что и от сценария в скором времени не осталось ничего. Уходящая натура приобрела очертания манящего миража на границе то ли утраченного рая, то ли подступающей преисподней, «белые» и «красные», черное и белое, противостояние, контраст и конфликт растворились в загадочном узоре персидского ковра, секрет которого молодой режиссер никому не поведал – ни редакторам, ни съемочной группе. Материал фильма, снятого во Львове, был с гневом отвергнут. Фильм был закрыт, негатив подлежал смывке, студию от финансовых и прочих неприятностей спас Никита Михалков, сделавший на основе принятого сценария – и использовавший некоторые наработки предыдущего автора (центральная героиня, ее манера выпевать слова, заламывать руки, и главным образом ее шляпы) – что называется, стильный фильм, где и рассветы, и закаты происходят в положенное им время и в предназначенной последовательности. Так

возник один из самых любимых советским народом фильмов «Раба любви». Так надолго завершилась, едва начавшись, режиссерская биография Хамдамова.

Что он делал последующие четверть века, как жил, чем жил – бог весть. Рисовал, придумывал, завораживал немногочисленных, но ярых поклонников и поклонниц тихим шелестом своих бесчисленных историй, рассказываемых без пауз, знаков препинания, интонационных акцентов. Его беглые, штриховые наброски золотой пылью оседали на московских кухнях; хозяева временных прибежищ стыдливо, но твердо припрятывали их в ящики и секретеры (на салфетках, конфетных обертках, листках из перекидного календаря или услужливо подложенных листах чистой бумаги, потом можно окантовать – и в гостиную, против окна, там лучше будет смотреться).

Фильмы снимать ему уже никто не предлагал, помнили о нем лишь друзья, коллеги и особо продвинутые киномены.

С началом перестройки из реки забвения начали всплывать: имя, фамилия, звучное название первого фильма, напоминающее поэтическую строчку, проблески полузабытой биографии и отблески все еще живой легенды...



«Анна Карамзофф». Реж. Рустам Хамдамов. 1991



Тогда Хамдамова, человека без определенного места жительства и занятий, нашел Сергей Соловьёв, художественный руководитель студии «Круг» киноконцерна «Мосфильм», и предложил ему запуск на любых условиях. Через некоторое время был написан (а скорее всего – записан со слов автора) сценарий полнометражного художественного фильма «Анна Карамазофф».

Шум в прессе поднялся соответствующий. Алексей Герман, Кира Муратова, Александр Сокуров – священные чудовища эпохи перемен – были уже «отработаны» до мельчайших подробностей и деталей; на их фоне Хамдамов казался доселе необитаемым и неизведанным островом, таящим в своих глубинах сундуки с золотыми монетами и драгоценными камнями, – кому выпадет удача открыть, сделать опись и сдать на хранение под грифом «особо ценный объект»? Многочисленные репортажи с места съемок, интервью и очерки заполнили газеты и журналы. Хамдамов изъяснялся в присущей ему манере: отрывочно и обрывочно, невнятно и невразумительно. Однако в каждой обмолвке сквозило, проглядывало и мерещилось нечто значительное, что важно было понять, уловить, расшифровать, поместить на соответствующую полочку высоких истин смутного времени. Когда, вполне случайно, как и многие, я оказалась в знаменитом полуподвале на улице Герцена в не самый лучший для его хозяина период, то довольно скоро поняла, что

история «Анны Карамазофф» станет для меня и моей личной историей и что это произойдет со мною, как и со многими, кто так или иначе попадает в поле этого почти никем не увиденного легендарного фильма.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.